

Дневники

Автор:

Франц Кафка

Дневники

Франц Кафка

Литературные наброски, сны и театральные впечатления, перемежаемые рассуждениями о собственной несостоятельности, упреками, страхами, терзаниями. Вечный экзистенциальный кризис и абсолютное одиночество, выплеснутое на бумагу, – эта неудавшаяся сублимация, эти записи, не приносившие облегчения, стали, бесспорно, самым значительным текстом Франца Кафки.

Франц Кафка

Дневники

1910

Зрители цепенеют, когда мимо проезжает поезд.

«Если он задаёт мне вопросы». Это «ё», отделенное от фразы, улетает, как мяч на лугу.

Его серьезность меня убивает. Голова зажата в воротничке, волосы недвижно уложены на черепе, мускулы внизу щек затвердели на своем месте.

Лес все еще здесь? Лес все еще был почти что здесь. Но едва мой взгляд устремился дальше шагов на десять, я упустил его из виду, снова втянутый в скучный разговор.

В темном лесу, на размякшей почве я мог ориентироваться лишь благодаря белизне его воротничка.

Во сне я просил танцовщицу Эдуардову, чтобы она еще раз станцевала чардаш. На ее лице между нижним краем лба и серединой подбородка – широкая полоса тени или света. Как раз в этот момент пришел кто-то с отвратительными ужимками бессознательного интригана, чтобы сказать ей, что поезд сейчас отправляется. По выражению, с каким она слушала это сообщение, я с ужасом понял, что она не будет больше танцевать. «Я злая, скверная баба, не правда ли?» – сказала она. «О нет, – сказал я, – вовсе нет», – и повернулся наугад к выходу.

* * *

Перед этим я расспрашивал ее о цветах, торчавших за ее поясом. «Они от всех государей Европы», – сказала она. Я раздумывал, какой смысл заключен в том, что эти свежие цветы, торчащие за поясом, были подарены танцовщице Эдуардовой всеми государями Европы.

Танцовщица Эдуардова, любительница музыки, всюду, в том числе и в трамвае, ездит в сопровождении двух скрипачей, которых она часто просит играть. Ведь запрета не существует, так почему бы в трамвае не играть, раз игра хороша, нравится пассажирам и ничего не стоит, то есть если после окончания не производят сбора денег. Правда, поначалу это немножко ошарашивает, и некоторое время каждый считает, что это неуместно. Но на полном ходу, при хорошем сквозняке и на тихой улице звучит приятно.

Танцовщица Эдуардова на открытом воздухе не так красива, как на сцене. Эта бледность, эти скулы, так натягивающие кожу, что на лице едва отражается какое-нибудь движение, выступающий, словно из углубления, большой нос, с которым не пошутишь – не попробуешь кончик на твердость или не ухватишь спинку носа и не повернешь туда-сюда, говоря: «А теперь ты пойдешь со мной». Широкая фигура с высокой талией в слишком складчатых юбках – кому это может понравиться? – она похожа на одну из моих теток, пожилую даму, многие пожилые тетки многих людей выглядят похоже. На открытом воздухе эти изъяны не компенсируются у Эдуардовой, собственно говоря, ничем, кроме весьма недурных ног, в ней действительно нет ничего, что давало бы повод к восторгам, удивлению или хотя бы просто вниманию. И потому я очень часто видел, как даже обычно очень обходительные, очень корректные господа при всем старании не могли скрыть своего равнодушия по отношению к Эдуардовой, такой известной танцовщице, каковой она все-таки являлась.

Моя ушная раковина на ощупь свежа, шершава, прохладна, сочна – как лист.

Я совершенно определенно пишу это из-за отчаяния по поводу моего тела, по поводу будущего этого тела.

* * *

Но если отчаяние выступает так определенно, если оно так неотрывно от своего объекта, так удерживается, словно солдат, прикрывающий отступление и разрываемый за это в клочья, тогда это не отчаяние. Подлинное отчаяние сразу достигает своей цели и всегда обгоняет ее, (при этой запятой выявляется, что только первая фраза верна)

Ты в отчаянии?

Да? В отчаянии?

Убегаешь? Хочешь спрятаться?

Я прохожу мимо борделя, как мимо дома возлюбленной.

Писатели мелют вонючий вздор.

Белошвейки в потоках дождя.

Из окна купе

Наконец-то после пяти месяцев жизни, в течение которых я не смог написать ничего такого, чем был бы доволен, и которые никто и ничто не в силах мне возместить, хотя все обязаны бы это сделать, я надумал снова поговорить с самим собой. На это я еще способен, если действительно задаюсь такой целью, здесь еще можно что-то выбить из той копны соломы, в которую я превратился за эти пять месяцев и судьба которой, кажется, в том, чтобы летом ее подожгли и она сгорела быстрее, чем зритель успеет моргнуть глазом. Пускай бы это случилось со мной! И пусть хоть десять раз случится – я ведь не сожалею о времени, даже злополучном. Мое состояние – не состояние «несчастья», но это и не счастье, не равнодушие, не слабость, не усталость, не интерес к чему-то – тогда что же оно такое? То обстоятельство, что я не знаю этого, связано, вероятно, с моей неспособностью писать. А ее я, кажется, ощущаю, не зная причины. Все вещи, возникающие у меня в голове, растут не из корней своих, а откуда-то с середины. Попробуй-ка удержать их, попробуй-ка держать траву и самому держаться за нее, если она начинает расти лишь с середины стебля. Пожалуй, кое-кто это умеет, например, японские акробаты, взбирающиеся по лестнице, которая стоит не на земле, а на поднятых вверх ступнях полулежащего человека и не прислонена к стене, а вздымается вверх прямо в воздух. Я этого не умею, не говоря уж о том, что под моей лестницей нет даже тех ступней. Конечно, это еще не все, и такая задача еще не заставит меня заговорить. Но каждый день на меня должна быть направлена по меньшей мере одна строка, как направляют теперь подзорные трубы на кометы. И еще – я

должен оказаться перед настоящей фразой, захваченный этой фразой, как то случилось со мною, например, в последнее Рождество, когда дело дошло до того, что я едва мог владеть собой, и когда, казалось, я действительно был на последней ступеньке своей лестницы, которая, правда, спокойно стояла на земле у стены. Но что за земля, что за стена! И все же та лестница не упала – так прижимали ее к стене мои ноги, так держали ее мои ноги на земле.

Сегодня, например, я совершил три дерзости – по отношению к кондуктору, по отношению к одному из моих начальников: так, их только две, но они мучают меня, словно боль в желудке. Они были бы дерзостью со стороны любого человека, тем более с моей. Итак, я вышел из себя, сражался в воздухе, в тумане, и вот что самое скверное: никто не заметил, что я и по отношению к моим спутникам совершил дерзость, сделал, должен был сделать именно как дерзость настоящую гримасу, за которую необходимо нести ответственность; но самое скверное, что один из моих знакомых воспринял мою дерзость не как черту характера, а как самый характер, обратил мое внимание на эту дерзость и восхитился ею. Почему я вышел из себя? Теперь я, правда, говорю себе: смотри, мир позволяет тебе бить его, кондуктор и начальник остались спокойными, когда ты выходил, начальник даже поклонился. Однако это ничего не значит. Ты не можешь ничего достичь, выходя из себя. Но что еще ты потеряешь, оставаясь в очерченном тобой круге? На это я отвечу следующее: я лучше позволю избивать себя в этом круге, чем самому избивать кого-то вне его. Но где, черт возьми, этот круг? Некоторое время я видел его на полу словно мелом нарисованным, теперь же он лишь витает вокруг меня, да и не витает даже.

Ночь кометы, 17/18 мая. Был вместе с Бляйем, его женой и ребенком, временами слышал себя снаружи, как поскуливание котенка, вскользь, но тем не менее.

Сколько дней опять прошли безмолвно; сегодня 29 МАЯ. Разве нет у меня хотя бы решимости брать каждый день в руки эту ручку, этот кусочек дерева? Да, я думаю, у меня ее нет. Я гребу, езжу верхом, плаваю, загораю. Поэтому икры хороши, бедра неплохи, живот куда ни шло, а вот грудь очень убога, и если голова в затылке у меня.

19 ИЮНЯ. Воскресенье. Спал, проснулся, спал, проснулся, жалкая жизнь.

Если подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Я ведь воспитывался не где-то на обочине, не в каких-нибудь руинах в горах, против этого я не мог бы сказать ни слова упрека.

Опасаясь, что весь ряд моих прошлых учителей не сможет этого понять, но охотнее всего и с удовольствием я был бы маленьким обитателем руин, обожженным солнцем, которое со всех сторон светило бы между развалинами на безучастный плещ, пусть вначале я был бы слаб под грузом моих добрых качеств, которые буйно, как мощные сорняки, разрослись бы во мне.

Если подумаю, то должен сказать, что мое воспитание во многом мне очень повредило. Этот упрек касается многих людей, а именно – моих родителей, кое-кого из родственников, отдельных посетителей нашего дома, различных писателей, совершенно определенной кухарки, которая целый год водила меня в школу, кучи учителей (которых я должен в воспоминаниях тесно сгрудить, иначе то один, то другой отвалится, но, поскольку я их так сгрудил, целое опять-таки местами крошится), некоего школьного инспектора, медленно движущихся пешеходов, короче говоря, этот упрек всажен, как кинжал, во все общество, и никто – повторяю: к сожалению, – никто не уверен, что острие кинжала не вылезет вдруг спереди, или сзади, или сбоку. И никаких возражений на этот упрек я не желаю слушать, ибо слишком много я их уже слышал, и так как в большинстве возражений я был опять-таки опровергнут, то и эти возражения я включаю в свой упрек и ныне заявляю, что мое воспитание и это опровержение во многом мне очень повредили.

Я часто думаю об этом и каждый раз прихожу к выводу, что мое воспитание мне во многом очень повредило. Этот упрек относится ко множеству людей, правда, они стоят здесь рядом и, как на старых групповых портретах, не знают, что им делать: опустить глаза им не приходит в голову, а улыбнуться они от напряженного ожидания не решаются. Здесь мои родители, кое-кто из родственников, из учителей, кухарка, которую я запомнил, некоторые девушки из школы танцев, некоторые посетители нашего дома прежних времен, некоторые писатели, преподаватель плавания, билетер, школьный инспектор, затем люди, которых я лишь однажды встречал на улице, и какие-то еще, которых я сейчас не могу припомнить, и такие, которых никогда больше не вспомню, и, наконец, такие, на уроки которых я, чем-то отвлекшись тогда,

вообще не обратил внимания, – короче, их так много, что надо следить, как бы не упомянуть дважды одного и того же. И к ним всем я обращаю свой упрек, знакомлю их тем самым друг с другом и никаких возражений не приемлю. Ибо воистину я уже слышал их предостаточно, и, так как большинство этих возражений я не сумел оспорить, мне ничего другого не остается, как включить их в счет и сказать, что, как и мое воспитание, эти возражения тоже во многом очень повредили мне.

Может быть, подумают, будто я воспитывался где-то в глуши? Нет, я воспитывался в городе, в самом центре города. Не в руинах, к примеру, не в горах и не на берегу озера. Мои родители и их присные до сих пор были хмуры и серы из-за моего упрека, но вот они легко отстранили его и улыбаются, потому что я снял с них мои руки и приложил их ко лбу и думаю: мне бы быть маленьким обитателем руин, вслушивающимся в гомон галок, осененным их тенью, освежающимся под холодной луной, – пусть вначале я и был бы чуть слаб под грузом добрых качеств, которые должны были бы буйно, как сорная трава, разрастись во мне, обожженном солнцем, сквозь развалины пробивающимся со всех сторон и светящим на мое свитое из плюща ложе.

Я часто думаю об этом и предоставляю мыслям идти своим путем, не вмешиваясь, но как бы я их ни поворачивал, прихожу к выводу, что мое воспитание во многом мне страшно повредило. В этом признании заключен упрек по отношению к целому ряду людей. Здесь родители с родственниками, совершенно определенная кухарка, учителя, некоторые писатели, дружественные семьи, некий учитель плавания, уроженцы курортных мест, некоторые дамы в городском парке, по виду которых этого не скажешь, некий парикмахер, некая нищенка, некий штурман, домашний врач и еще многие другие, и их было бы еще больше, если бы я захотел и смог назвать их по имени, – короче, их так много, что надо следить, как бы не назвать в этой толпе кого-нибудь дважды. Может показаться, что уже из-за самого этого множества упрек теряет в твердости, да он и должен ее, собственно, терять, ибо упрек – не военачальник, он шагает лишь напрямик и не умеет дробиться. Даже в этом случае, раз он направлен против ушедших людей. Эти люди желали бы со всей забытой энергией остаться в памяти, но почву под ногами они вряд ли сохранят, сами ноги их – уже дым улетучившийся. И можно ли людей вот в таком состоянии сколько-нибудь успешно упрекать теперь за ошибки, совершенные ими когда-то, в прежние времена, при воспитании какого-то юноши, который

сейчас для них столь же непостижим, как и они для нас. Их ведь даже не заставишь вспомнить те времена, они ни о чем не могут вспомнить, а если насесть на них, они молча оттеснят тебя в сторону, никто не в силах их принудить, но о принуждении, очевидно, и говорить нечего, ибо, скорее всего, они и не слышат слов. Они стоят, как усталые собаки, ибо всю свою силу они потратили на то, чтобы остаться в памяти. Но если бы действительно удалось заставить их слушать и говорить, тогда в ушах звенело бы от их контрупреков, ибо люди ведь берут с собой в потусторонний мир убежденность в безупречности мертвых и защищают ее оттуда с удесятеренной силой. И если это мнение, возможно, было бы неправильным и мертвые имели бы особенно большое уважение к живым, тогда они тем более заступились бы за свое живое прошлое, которое им ближе всего, и снова у нас звенело бы в ушах. А если и это мнение было бы неправильным и мертвые были бы как раз очень объективны, то и тогда они ни за что не могли бы согласиться, чтобы их тревожили недоказуемыми упреками. Подобные упреки человека человеку недоказуемы. Нельзя доказать ни наличия прошлых ошибок в воспитании, ни их авторства. Вот и предъяви тут упрек, который в такой ситуации не обратился бы во вздох.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/franc-kafka/dnevnik>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)